

Погибший пловец (1834)

Марии Михайловне Блюм

Кити минуло сегодня шестнадцать лет. В прозрачном облаке волнисто-розовой кисеи, плавно, как большая, сошла она с террасы в цветник к любимой розе. Обе они в этот день распустились полным весенним цветом; обе нежны и прекрасны, – и млеющие влажные лепестки такие же розовые и душистые, как длинное платье Кити. Полдневная тишина разнежила истомленные сиреневые кусты; задумавшись, забыли шелестеть вековые липы; одна иволга на рябине звучно затвердила свое «люблю». В усадьбе обычная воскресная тишина. После обедни и пышного пирога домашние все разбрелись куда попало. Девятилетний Поль с Карлом Федорычем удит под обрывистым берегом Москвы-реки; шалун то швыряет потихоньку камешки и любит, как по водному зеркалу бегут стальные круги, то, карабкаясь по глинистому обрыву, тревожит касаток, визгливо вылетающих из земляных своих гнезд. Карл Федорыч, в клетчатом фраке, зорко из-под черепаховых очков высматривает прыгающий поплавок и с довольной улыбкой пускает в плетеное ведерко красноперых трепещущих окуньков. Фавр украдкой опустила стыдливые занавески на своем белом окне: значит, теперь продремлет до обеда. Уснули все: няня, дворецкий Прохор, горничная, садовник, оба лакея; даже казачок Тришка свернулся на конике в передней, и дружные мухи облепили ему рот.

Из цветника Кити медленно прошла в боковую аллею. Здесь темно; в тени добродушных престарелых лип акации, вздрагивая, дышат трепетно, весело и неровно; бледным кружевным узором осыпают они убитые дорожки. Сюда каждую ночь прилетает соловей. Дальше – огород с черными грядами синеватой рассады и нежными кудрями гороха; чучело протягивает растопыренные руки; с воровским шорохом взлетывают над ними стайками воробьи. За огородом у издыхающего, зацветшего давно пруда плакучая береза грустно склонила повисшие густые ветви. Кити присела к ней на скамью, прижалась к душистой седой коре, и вот уж ей хочется смеяться, плакать и замирать от счастья; сладкая тоска запела на душе, примчавшись с лугов вздыхающей сиротливо песней. Лучистые глаза обмахнул батистовый платок; под черными локонами ярко загорелись щеки.

Второй уже час. Скоро в дорожной пыли зальется знакомый колокольчик; из Москвы воротится *papa* со своим «сюрпризом». Необычайное что-то ожидает Кити; знает она: Иван Сергеич никогда не обещает ничего даром; конечно, он воротится не один. Но кто этот гость? Верно, какой-нибудь томный загадочный красавец с длинным профилем, как у лорда Байрона, в небрежно накинутом плаще, или стройный, сияющий золотом гусар, или... все равно: это будет он. И вот уже они здесь; он гостит в Ильинском; каждый день они встречаются, гуляют вдвоем в саду. Наконец, в один тихий вечер он признается ей в любви. Их благословляют; они – жених и невеста. Вот она, опустив глаза, стоит под венцом в торжественном белом платье, в дрожащем блеске свечей. Певчие поют дивно; вся Москва съехалась на торжество: «Какая красавица!»

Колокольчик звякнул слабо и несмело где-то за поворотом: ближе, ближе, – голосисто распелся малиновый звон; вот слышно, как бубенчики и глухари подыгрывают валдайскому, и гроыхая, влетела во двор пыльная коляска.

* * *

– Знаешь, Кити, кого привез *papa*? Солдата! Правда, Карл Федорыч?

– О, ja... Но сей есть особый Soldat...

– Я видел, как он вылез из коляски, посмотрел на меня и улыбнулся. У него глаза... орлиные! Право!

Кити серебристо засмеялась, а ей хотелось заплакать. Так вот какой сюрприз приготовил ей *papa*! Привез какого-то простого солдата. Но, может быть, Поль ошибся, и это лишь дорожный костюм...

Обеденный стол готов, и Прохор, величественный, в вязаных перчатках, ждет приказа подавать. Фамильный сервиз с гербами, граненый старый хрусталь, снежные торчащие салфетки, графины разноцветные, радужно играющие лучами, веселый мушиный перелет – все дразнит, смеясь, опечаленную Кити.

Раздались шаги; на мгновение взрыв приветствий; к вспыхнувшей щеке дочери смеющийся, румяный Иван Сергеич прижал выбритый полный подбородок: Кити прячет браслет, целует широкую отцовскую руку и глядит изумленно на склоненного перед ней молодого человека.

Полю не солгал: это точно солдат, обыкновенный, простой армеец, широкоплечий, сутуловатый, в казенном мундире с хвостиками, в грубых сапогах, с запахом дегтя и казармы. Смуглое лицо озаряют огромные прекрасные глаза; нежный рот детски улыбается под маленькими пушистыми усами.

Посмеиваясь, Иван Сергеич подвел гостя к столу и разлил золотисто-оранжевую рябиновку по граненым рюмкам.

– Прошу. За здоровье новорожденной.

Солдат чокнулся: загорелая маленькая его рука в жестком обшлаге заметно дрожала.

– Поздравляю вас, Екатерина Ивановна, и желаю вам полного счастья, – тихо молвил он и, не пригубив, поставил рюмку.

– Что ж это такое? А еще поэт! Надо выпить до дна!

– Благодарю, я ведь не пью. Нельзя мне, Иван Сергеич.

– И слушать не хочу. Рябиновки нельзя, налью вам сливянки или вишневой.

Поэт? Он поэт! Кити с благодарным восхищением взглянула на отца. Ей, любящей стихи больше всего на свете, можно ли придумать лучший сюрприз!

– А знаешь ли, Кити, кого я привез? – Иван Сергеич маслянистым куском пирога заел изумрудную горькую листовку и взялся за свое раздвижное кресло. Все уселись. Кити сгорала от любопытства. Солдат скромно принял из рук madame Фавр полную тарелку. Иван Сергеич выдержал немного. – Ведь это Александр Иванович Полежаев.

* * *

Третью неделю гостит в Ильинском молодой солдат. Домашние им не нахвалятся: всем он полюбился, со всеми он ласков и дружелюбен. С Иваном Сергеичем беседует об урожае, о наливках, о путанице старинных родословий; вместе прохаживаются они на огороде надергать к столу редиски, посмотреть, созревает ли в парнике выписная дыня. У Поля рыба не будет клевать, если не подсядет к нему с удочкой Александр Иванович; иногда вдвоем ловят они у мельницы решетом гольцов. По утрам Александр Иванович на террасе занимается с шаловливым Полем, учит его читать наизусть французские стихи. Карл Федорыч хотя и ревнует немного своего питомца, но, повстречавшись с гостем, всякий раз растягивает лицо в веселую улыбку. Едва Александр Иванович за чаем примется рассказывать о кавказских своих походах, как уже в дверях важно супится и покашливает Прохор, вздыхает няня и толчется Тришка с разинутым вечно ртом. Но всех дружнее с поэтом барышня, Екатерина Ивановна.

Вечереет. На террасе позванивают чашками, накрывая к чаю. Под древней березой, на скамье, сидят Кити и Александр Иванович.

– Нет, Екатерина Ивановна, не говорите так; я не человек. Я живой мертвец, несчастная жертва рока. Жизнь вздымала на меня грозные бури, била меня в грудь волнами лютых бедствий. Погибающий пловец, я ношусь по океану бытия в утлом челноке. В детстве не знал я ни ласки, ни забот; несчастный отец мой, может быть, и любил меня, но лучше бы мне вовсе не родиться. Затем бесприютная юность, которую я сам загубил, предавшись пылким страстям природы; наконец, последний жестокий удар безжалостной судьбы. Я – вечный раб. Все надежды, все мечты мои погребла навеки серая шинель.

На узорчатых ресницах Кити блеснули слезы.

– Александр Иванович, зачем предаетесь вы таким ужасным мыслям? У вас талант.

Горькая усмешка шевельнула пушистые усы.

– Что талант, ежели жизнь моя безотраднa? Где я найду сердце, которое поймет меня? Кому я нужен?

Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире
Одинок,
Как челнок,
Уз любви
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал.

Сердце Кити стучало. Она подняла отуманенный долгий взгляд – на нее грустно смотрели большие синие глаза под белой фуражкой; загорелая рука, вздрагивая, обрывала василек. Невольным порывом Кити вскинула легкие свои руки; пальцы ее нежно скользнули по шершавому сукну. И тотчас, уронив платок, как птичка, полетела она аллей.

Усталое солнце прощальным золотом затопило сад. Тихо, только в акациях резко пощелкивают стручки.

* * *

Ночь светла и прозрачна. Не спится Кити. Не раздеваясь, открыла она окно; внизу белый двор с амбарами и колодцем застыл в сонной, голубовато-зеркальной тишине. Месяц улыбнулся ей. Вздыхая, уронила прекрасную голову на тонкие руки, утонула недвижным взглядом в голубой пустыне.

Месяц, смеясь, уставился прямо в лицо белыми глазами; ночь сладко дышит в волосах то холодом, то теплом. А что-то теперь в саду? – и тихо, звякнув стеклянной дверью, вышла Кити на заднюю террасу.

Господи! Месяц хочет ночь сделать светлее дня; в его серебряном царстве, сияя, чеканится каждая ветка, каждый листик на старых липах, а внизу темные клумбы и рогатые кусты изнемогают, упоенные росой. Стрекозы в крапиве без умолку трещат; меж белых колонн пляшет летучая мышь; разрисованный пестрый сыч косо шмыгнул под крышу.

Что это? Кити узнала знакомый голос, Это он, Александр! Он творит стихи в эту волшебную полночь. Один, в саду.

Нет, не один! Чу! Засмеялся кто-то. Опять мерное чтение... И опять смех.

Шаль на плечах, – Кити порхнула лестницей вниз; не дыша, призрак ее скользит по сонному дому и беззвучно погружается в блеск и прохладу седых аллей. Месяц закодировал тишину, и голоса в ней растворяются, как в морской воде.

– Стало быть, нашлась какая ни есть анафема и предала, значит, вас, Александр Иванович?

– То-то, да. Ну, так слушай дальше... Только сперва надо горло промочить...

– В один секунд! Пашка! Садовник! Заснул? Стаканчик Александр Ивановичу!

– Ничего, хорошо и так... Давай сюда полштоф... Все едино... А теперь хлебом... Так. Ну, вот, положил он мне руку на плечо и говорит: иди в солдаты, там себе прощение заслужишь. Прощенье... какого черта? Девятый год ремнем мозоли натираю, а где оно, прощение-то? Ну, да что! Дайка сюда... Эх!

– Не обессудьте уж на закуске-то, Александр Иванович. Какая есть.

– Ладно... На Кавказе посолишь, бывало, себе язык, вот и закуска... А что-то мне спать хочется...

– Выпили маненечко, оно и клонит... А только мы так смекаем, Александр Иванович, что вы недолго теперь под ружьем помаетесь, а, гляди, еще к нам в господу произойдете. С барышней-то нашей вы как есть пара...

– Что ты говоришь? А, барышня! Хо-хо! Видали мы... Мало в ней мозгу. Я, брат, с бабьем не люблю возжаться. Побаловать можно бы и с ней, да не стоит: худа больно... Я грудастых люблю... Эх, в Москве у нас, на Драчевке, была одна!

Лунной тенью, белой ночной бабочкой Кити мчалась через аллеи. Шептали ей вслед темные глухие липы и трепетные, серебристые тополя; два раза бузина цеплялась за шаль, и алмазные брызги падали с кустов, такие же чистые, как слезы Кити. Вот уже она наверху; на коленях припала к своему окну. Месяц побледнел и смутился; уже не глядит он на Кити и не ласкается к вздрагивающим плечам; только добрая ночь дышит в детский затылок еще ласковее и нежнее. Так и заснула Кити, разметанными черными кудрями закрывая пылающее лицо.

Месяц побледнел и растаял, почуяв вдали зарю. Переливаясь, запел пастуший рожок. Ласточка взвизгнула, взмыв над ухом у Кити. Ничто не потревожило ее мирного девического сна.

А в акациях до утра провалялся Александр Иванович. Насилу Пашка-садовник растолкал его.